

ЭЛЕНА ЦАРЬ ВЕЛЕН ТЕБЯ ПОВЕСИТЬ  
ЭЛТАНГ



**ЛЕНА**  
**ЭЛТАНГ**  
**ЦАРЬ**  
**ВЕЛЕЛ**  
**ТЕБЯ**  
**ПОВЕСИТЬ**  
**РОМАН**



издательство **АСТ**

Москва

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)9-44  
Э51

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

**Элтанг, Лена**

Э51 Царь велел тебя повесить: роман / Лена Элтанг. — Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2018. — 544 с.

ISBN 978-5-17-982687-3

Роман “Царь велел тебя повесить” включает в себя книгу, написанную шестью годами раньше, но полностью пересматривает и переворачивает ее сюжет. Тайна гибели старого друга, история безысходной любви и разорения фамильного дома наполняются новым смыслом, герои, прежде молчавшие, обретают голос и дают ключевые показания. Костас Кайрис — вечный странник, тартуский студент, лиссабонский наследник — попадает в тюрьму за убийство, которого он не совершал. В письмах из камеры он распутывает, казалось бы, безнадежные узлы своей жизни. Выясняется, что сила письма, писательства мощнее семейных корней, человеческих связей, непоправимых ошибок и непреодолимых обстоятельств — одним словом, судьбы. Честный и дерзкий текст, обращенный в прошлое, меняет будущее и становится дорогой к свободе.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)9-44

ISBN 978-5-17-095149-9

- © Л. Элтанг, текст, 2018
- © А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2018
- © ООО “Издательство АСТ”, 2018
- Издательство CORPUS ®

## Содержание

Часть первая

### **Другие барабаны**

Глава первая 9

Глава вторая 107

Часть вторая

### **Похороны трески**

Глава третья 177

Глава четвертая 259

Глава пятая 333

Часть третья

### **Тавромахия**

Глава шестая 395

Глава седьмая 471



Часть первая

# **Другие барабаны**





# ГЛАВА ПЕРВАЯ

## КОСТАС

**У**тром я впервые в жизни побрился ножом у ручья. Давно хотел это сделать. Вода была родниковая, ледяная, но я выкупался, натянул свитер и выпил кофе из красного термоса, который сунул мне в руки хозяин кафе “Канто”, когда я сказал, что ударяюсь в бега. Встретив его недоверчивый взгляд, я добавил, что он может взять себе дверные ручки, уцелевшие при пожаре, железные полки и все, что найдет там полезного. Если поймают, накинута еще год к твоим четырем, сказал хозяин кафе, а то и два. Я пожал плечами, но его слова застряли в памяти, как синие резиновые цифры в сырной голове. В детстве я выковыривал их из желтой восковой корки и складывал под стекло, вместе с сушеными кузнечиками и прочей ерундой. Четыре плюс два равно шесть.

Я думал об этом, стоя на обочине шоссе E1, еще не просохшего от ночного дождя. К тому времени, как я выйду, на европейских купюрах будет нарисован кто-то другой, может стать, самой Европы уже не будет, и вполне вероятно,

что не будет бумажных денег вообще. Голосовать пришлось недолго, в семь часов меня подобрал грузовик, направлявшийся на север, так что я сошел возле Карвалеяры, когда солнце еще не достигло зенита. До испанской границы оставалось полдня пути.

Согревшись, я выложил все из карманов на траву и осмотрел свое имущество. Что у меня в сумке, я и так знал: две белые рубашки, бритвенный помазок, твидовый пиджак и фаянсовая кукольная голова. Когда за мной пришли, сестра набила сумку чем попало, хотя торопиться было некуда, полицейские спокойно ждали, когда я буду готов. В карманах обнаружился паспорт, две сотенные купюры, спички, разбитый телефон и нож, который я присвоил вчера на кухне мотеля.

В Лиссабон я больше не вернусь, а бежать лучше всего налегке. Вот сидеть — другое дело. В камере каждая вещь, карандаш или обмылок, становится артефактом, подтверждающим существование свободы. Пачка оберточной бумаги, на которой я писал в сетубальской тюрьме, была украдена, когда соседям по камере передали рассыпной табак.

За зиму я многое понял про тюремную жизнь. Все свое носи с собой. Если ты думаешь, что тебя заперли, попробуй открыть дверь. Не переставай говорить вслух, а то забудешь кто ты такой. Если ты сидишь в тюрьме, это не значит, что ты совершил преступление.

• • •

Когда они пришли за мной, все произошло как в фильме братьев Люмьер: быстро, непредсказуемо, в черно-белом мерцании. Паровоз летел мне прямо в лицо, потом брал чуть правее, обдавая горячим паром, я задышался, наглотавшись угольной пыли, а статисты прохаживались по квар-

тире, будто носильщики по перрону. Я ждал их уже давно, и вот они пришли.

Полицейских было четверо: трое проворно разбрелись по дому, а инспектор постучался ко мне в спальню и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Вместе с ним зашла настороженная Байша со стаканом молока.

— Константин Кайрис? Я инспектор криминальной полиции. Одевайтесь.

Разговаривать с инспектором, бесцветным, как глубоководная рыба, мне пришлось на кухне. Сначала мы долго молчали: он рылся в портфеле и прихлебывал молоко, а я сидел на подоконнике и слушал, как полицейские швыряют на пол книги и скрипят дверцами платяных шкафов. Один из них вошел в кухню и выложил на стол пакетик с травой и грубо оторванную видеокамеру. Наверное, ту, что висела на кухне, ее проще всего было найти. Инспектор нахмурился и одним глотком допил молоко.

— Садитесь к столу, Кайрис.

В столовой раздался обиженный звон. Похоже, там уронили музыкальную шкатулку, жаль, что я ее вовремя не продал. Я подвинул стул и сел возле стола, прислушиваясь к шагам над головой. Через минуту зашел сержант с плотно набитым конвертом, который я вчера приготовил для посредника.

Инспектор поставил портфель под стол, разложил бумаги и достал карандаш, движения его были плавными, но значительными, как у танцора фламенко. Потом он заглянул в конверт, присвистнул и, не пересчитывая денег, сунул его в папку, а папку положил в портфель.

— Я должен подписать акт об изъятии? У вас есть санкция прокурора?

— При каких обстоятельствах камеры оказались в вашем доме?

— Так как насчет санкции?

— У нас нет бумаги, ее выпишут только завтра. Но если вы не будете сотрудничать, то мы проведем обыск как следует: вскроем полы, разломаем мебель и пустим пух из всех подушек. Предлагаю вам сдать оружие, а также предъявить имеющиеся в доме ценности. Мы все равно вас сегодня заберем, для этого у нас есть основания.

Он говорил так нудно и размеренно, что я поверил. Ясно, что чистильщик совершил промах, и теперь у них есть подозреваемый номер один: сомнительный иностранец, у которого дом набит гаджетами для слежки.

— Я буду сотрудничать.

— У вас имеется армейский пистолет Savage M1917 с инкрустацией и наградной надписью на рукоятке?

— Был такой, но его украли. Он принадлежал хозяину дома, покойному сеньору Браге.

— Вы знаете, что им воспользовались в преступных целях?

— Знаю. Несколько недель назад. Но я не имею к этому отношения.

— То есть вам известно про убийство? Вы употребляете наркотики, Кайрис?

Я услышал тихое фырканье, обернулся и увидел свою служанку Байшу, стоящую в дверях. Уставившись на следователя, она вынимала из волос желтые бумажные бигуди и складывала в карман халата.

— Какое вам до этого дело? Я заявляю протест. Занесите это в свой протокол.

— В протокол заносятся только процессуальные действия. А также изъятые предметы, документы и ценности с точным указанием их количества, индивидуальных признаков и стоимости. Протесты сможете обсудить со следователем. Собирайтесь.

— Я могу взять компьютер и телефон?

— Компьютер возьмем мы. Вам можно взять смену белья и туалетные принадлежности. Вот здесь поставьте подпись. И вы тоже, сеньора, — он обернулся к Байше, и та неохотно подошла поближе.

Потом он сунул подписанный бланк в свой портфель, разваливающийся, будто обугленное полено, и окликнул полицейского:

— Что вы там возитесь, сержант? Выводите задержанного.

— Одну минуту, капитан. Тут устройство какое-то в кладовой и куча проводов на полу. Мне отключить провода и принести этот ящик?

— Ничего не трогайте! — Инспектор поставил портфель на пол, поднялся и направился в кладовку. Я соскользнул под стол, дотянулся до краешка папки, торчащей из портфеля, нащупал в ней конверт, вытянул деньги, примерно половину, и сунул их за пазуху. Байша внимательно смотрела в окно, на затылке у нее сидели две папилютки-лимонницы. Инспектор недовольно гудел за дверью, я услышал звук бьющегося стекла и хруст стеклянной пыли под каблуками. Похоже, они наткнулись на сервер, стоявший в кладовке за плотным строем банок из-под теткинго варенья. Банки были пустыми, последнюю мы с сестрой раскупорили в две тысячи седьмом, это были маленькие зеленые абрикосы.

• • •

Если бы в тот день, когда я увидел Лиссабон впервые, кто-то сказал мне, что я буду сидеть в тюрьме недалеко от руа ду Помбал, я бы точно не поверил. Мне было четырнадцать, мы с сестрой стояли на террасе и стреляли из лука с бельевой резинкой вместо тетивы, стараясь попасть в фонтан,

прямо в голову серебряного лосося, в мокрый выпуклый глаз. Агне не знала ни одного литовского слова, хотя у нее было древнее имя и волосы цвета пожухшего сена, еще светлее, чем у моего школьного друга Лютаса. Удивительное дело, вокруг меня всегда, с самого детства, роятся светло-волосые люди, будто стеклянные мотыльки *Palpita vitrealis*.

Так вышло, что до приезда в Лиссабон я ни разу не видел своей сестры. И ее матери, которая так смешно писала свое имя — Зое, тоже не видел. В твоей тетке нет ни капли литовской крови, шепнула мне мать, когда мы стояли на террасе, седьмая вода на киселе, странно, что она вообще нас пригласила. Она русская с ног до головы!

Я невольно обернулся и посмотрел на тетку через стеклянную дверь. Голова у нее была маленькой и гладкой, в те времена она заплетала косы и стягивала их в узел, узел лежал низко на смуглой шее и пушился, будто кокосовый орех. Зое сидела в кресле-качалке, а муж разминал ей ступни, устроившись рядом на полу и совершенно нас не стесняясь.

Тем летом я старался не носить очков, поэтому разглядеть тетку как следует не сумел, но помню, что был взволнован. Сначала мне показалось, что ее лицо сияет дымчатым светом, будто кристалл кварца, но потом я понял, что свет проходит через витражное стекло двери. Если бы Фабиу знал, что не пройдет и шести лет, как я буду ночевать с его женой в номере отеля “Барклай”, он бы, наверное, здорово удивился. Он умер задолго до того, как это случилось, и тем самым лишился возможности отволочь меня на агору и засунуть в задницу колючую рыбину, а потом засыпать согрешившие части тела горячей золой — так в старину полагалось поступать с прелюбодеями.

Он умер в девяносто четвертом. В этом году в Сараево обстреляли рыночную площадь, в Мексике восстали индейцы, паром “Эстония” затонул, комета Шумейкера —

Леви столкнулась с Юпитером, а я поступил в университет и поселился в облупленном общежитии на улице Пяльсони. В тот год я думать не думал о лиссабонской террасе, я начисто забыл о ней, и о тетке забыл, и о сестре, с которой в один из дождливых дней целовался между львиными лапами рояля. Я читал “Введение в египтологию” и ходил в гости к двум однокурсницам, снимавшим на окраине домик с печкой, потому что в общежитии было холодно и дуло изо всех окон. По дороге к девушкам я отрывал доски от чужих заборов или воровал угольные брикеты, однажды за мной погнался эстонец-хозяин, кричавший: “Куррат! Куррат!”, я бросил брикеты и побежал — просто чтобы доставить ему удовольствие.

• • •

Когда меня вывели из дома, инспектор повернул рубильник на лестничной площадке, закрыл дверь моим ключом и опустил всю связку в карман моего пальто. Руки у меня были скованы за спиной, наручники надели еще в прихожей, а один из полицейских даже придерживал сзади за плечо, как будто мне было куда бежать. Байша успела повязать мне на шею теплый шарф, и я боялся, что он развяжется и упадет. В машину меня сажали с церемониями, за чем-то пригибая голову рукой, хотя дверца фургона была довольно высокой, в человеческий рост.

Этот жест напомнил мне движение конюха на ипподроме, которое я подсмотрел, когда был там прошлой зимой с моим другом Лилиенталем. Мы искали жокея, который должен был подсказать несколько верных ставок, и долго бродили в пропахших мокрыми опилками закоулках конюшен. Наконец мы вышли к манежу и увидели, как мохнатого пони гоняют по кругу вдоль проволочного за-

бора. Пони возмущенно мотал головой, подбрасывал круп и норовил треснуть седока о забор, за что тут же получал хлыстом по кончикам ушей. Когда жокей услышал свое имя, он спешился и подвел лошадку ко входу, чтобы поздороваться с Лилиенталем. Я заметил, что он пригнул голову пони рукой в перчатке и стоял так, не отнимая руки все время, пока с нами разговаривал. Поймав мой взгляд, он сказал, что делает это не со зла, а затем, чтобы лошадь знала, что до стойла еще далеко и хозяин требует покорности.

В полицейском фургоне не было окон, и я смотрел в затылок инспектора, маячивший впереди, за узким грязноватым окошком. Затылок был приплюснутым, что говорит о жадности и упрямстве, а шея была кривой, что свидетельствует о живом уме. Осталось узнать, будет ли он зверствовать на допросе, подумал я, но тут машина замедлила ход, стукнули ворота, инспектор обернулся и кивнул мне на прощанье:

— Идите, Кайрис. Дальше без меня.

Сержант дал мне знак выходить из фургона и повел вперед, пригнув мою голову рукой в перчатке, так что я увидел только площадку, засыпанную гравием, выложенную ракушечником дорожку и ступени крыльца. У самой двери я поднял голову и прочел: *полицейский департамент номер шесть*. И чуть пониже: *калсада дос Барбадиньос*. Странно, что мы ехали так долго, в этом районе мне приходилось бывать у знакомого антиквара, и я ходил сюда пешком, с парой подсвечников под мышкой или граненым графином, завернутым во фланель. На крыльце сержант вдруг скривился, как будто вспомнил что-то неприятное, достал из кармана бумажный мешок, расправил и ловко надел мне на голову:

— Извини, брат. Такие здесь порядки.

Я спокойно стоял у двери, прислушиваясь к его удаляющимся шагам. Хлопнула автомобильная дверца, кто-то



засмеялся, потом завелся двигатель, зашуршал гравий. Почему они повезли меня на северо-восток, разве в альфамском участке нет своего отдела убийств? Вероятно, потому что я иностранец, а здесь какой-то особый отдел для иммигрантов. Дверь открылась, меня взяли за наручники и потянули внутрь. Конспираторы хреновы, начитались про Гуантанамо, сказал я тихо и тут же получил тычок под ребра. Похоже, отсюда дорога только в аэропорт и домой, в тюрьму на улице Лукишкес, думал я, медленно продвигаясь по коридору. Конвойный придерживал меня за плечо и предупреждал: лестница, стоять, направо.

Я ожидал жестокого допроса, но меня отвели на второй этаж, стянули с головы мешок, втокнули в камеру с бетонной скамейкой, сняли наручники и оставили одного. Даже обыскивать не стали, а могли бы неплохо пожить. Сидеть на бетоне было холодно, так что я стал ходить вдоль стены, зачем-то считая шаги; через три тысячи шестьсот шагов мне принесли одеяло и матрас, набитый чем-то вроде гречневой шелухи. Я вытянулся на матрасе лицом к стене, увидел перед собой слово *banana* и закрыл глаза.

Подумаешь, бетонная скамья. В позапрошлом году, когда я был во Флоренции, мне приходилось спать на антресолях шириной с половину плацкартной полки. Так вышло, что я жил в дешевой квартире в районе реки Арно, где ванна стояла посреди кухни, спальни вообще не было, а на антресоли вела библиотечного вида шаткая лесенка. Я долго не мог привыкнуть и, просыпаясь, резко поднимался в постели и бился головой о дубовую перекладину потолка. Через две недели мне показалось, что на двухсотлетней балке образовалась вмятина, еле заметная, но вполне понятного происхождения. Меня это почему-то обрадовало: я подумал о тех, кто поселится здесь после меня, они будут

смотреть на вмятину и усмехаться, думая о прежнем постояльце. *Засыпая, они будут думать обо мне* — вот что меня тогда волновало, поверить не могу.

## 30Е

Шла Федора по угору, несла лапоть за обору, оборы порвалась, кровь унялась. Когда таблетки не помогают, я ложусь в шавасану и вместо мантры читаю это громко и нараспев. Мне грустно думать, что ты застанешь дом в запустении, я знаю, что ты его любил. С тех пор как настоящие хозяйева умерли, он тихо гневался и хирел, обдираемый скупщиками. Его защитные листья осыпались один за другим, и вскоре кое-где показалась кочерыжка: белые стены и ясеневые доски пола. Я не тронула гостиную и спальню Лидии, но ты не стесняйся, если будешь голодать, продавай все, что найдешь, и портреты предков, и мейсенские лампы, тут еще надолго хватит.

Сегодня приезжал антиквар, служанка собрала для него чайный сервиз от *Vista Alegre*, завернула каждую чашку в газету, полдня просидела над этой коробкой, кряхтя и ругаясь. Я для нее что-то вроде демона-разрушителя, на моей совести падение дома Брага, а она служила им триста лет и три года. Возьми ее к себе, милый, она будет за тобой присматривать, без нее дом проглотит тебя и не поперхнется. Не гони старуху, обещаешь?

Я живу теперь в кабинете Фабиу, потому что там есть питерское окно-фонарь. Я переселилась туда прошлой осенью, когда окончательно слегла. Так кочевники меняли стоянку, если в племени кто-то подхватил лихорадку, считалось, что болезнь останется в земле прежнего становища, вместе с костями и тлеющими углями.

Когда-то это была лучшая комната в доме, самая тихая, с потрескавшимся кожаным диваном и сигарным столиком, — может быть, поэтому Фабиу выбрал другое место, когда решил покончить с собой. Он повесился зимой девяносто четвертого, рано утром, перед дверью материнской спальни. Письменный стол, который он отбросил ударом ноги, мы вынесли на помойку, а разбившаяся витражная лампа, которую в доме называли *грабарчиком*, удачно склеена и стоит на своем месте.

Воспоминания как чужие векселя, прочла я в одном из романов, купленных на распродаже в разорившемся книжном на улице Элиешу. В горькие дни можешь ими рассчитывать, и пока тебе есть чем платить, пока память подкидывает тебя, словно послушный батут, — ты в силе, у тебя полный рукав козырей. Есть ли у тебя воспоминания, Косточка? Если нет, то пусть у тебя будут мои, засунутые в ребристую железную коробочку с двумя красными кнопками *on* и *off*.

Нет, тут есть еще одна кнопка: пауза. Я только что ее обнаружила. Обычно я говорю с тобой не прерываясь, пока не устану, но тут мне вдруг страшно захотелось есть, я встала, прошла на кухню, держаь руками за стену, нашла там принесенный служанкой сверток и развернула коричневую бумагу. Точно в такую бумагу заворачивали горячий хлеб в тракайской пекарне: мы с твоей мамой ездили на озеро, покупали две свежие булки напротив замка и съедали их, глядя на уток. Крошить хлеб в воду было нельзя, за этим следил с башни замковый сторож; заметив нарушителей, он с грохотом сбегал по винтовой лестнице и принимался ругаться: ах вы змеи, лягушки, или вы читать не умеете?

В служанкином свертке оказался подсохший бисквит и яблоко, я вернулась с ними в кровать и вспомнила, как

мы грызли с тобой крекеры в эстонской гостинице. Вся постель была в крошках. Сначала шел мокрый снег, потом началась метель, и мы провели день в номере, попивая коньяк и слоняясь в стеганых нейлоновых одеялах, как два привидения.

Однажды, когда вас с Фабиу не было дома, — сказал ты тогда, — я зашел к тебе в спальню и забрался под твоё одеяло. Я провел там минут десять, представляя себе черт знает что. На одеяле были разбросаны вещи, приготовленные для стирки, я запомнил, как они лежали, и потом разложил в таком же порядке. В этом было больше смысла, чем во всех свиданиях с Агне под роялем, вернее под лысым персидским ковром.

— Ты встречался с моей дочерью под роялем?

— И под роялем, и во всех темных углах, где она меня заставляла. Она научила меня целоваться с открытыми глазами. Кстати, твои хваленые ковры были испорчены старой собакой и сыростью. От них воняло, как от клетки с опосумом.

— Этого не могло быть! — воскликнула я горестно. — Я бы почуяла. Скажи, что ты врешь!

И ты сказал, что тебе стоило.

## КОСТАС

— Эти видеокamеры принадлежат вам? — следовательно вертел проводок между пальцами. Я уже знал, что его фамилия Пруэнса, лицо у него было крупное, холёное, оно показалось мне смутно знакомым, как будто я видел его раньше, но мельком, на улице. В кабинете было нетоплено, я сидел на железном стуле и дрожал от холода, а он накинул на плечи твидовое пальто.

— Я уже говорил, что нет. Это собственность Лютаса Раубы, моего друга. Он собирался снимать кино и оставил у меня часть оборудования.

— То есть вы подтверждаете, что были знакомы с Раубой, гражданином Литвы? — Он поморщился и нажал кнопку на сером диктофоне.

— Разумеется. С самого детства. Теперь скажите мне, где я нахожусь и в чем меня обвиняют?

— Вы находитесь в следственной тюрьме, задержаны по подозрению в убийстве. Адвоката вам на днях предоставит центр помощи иммигрантам. На вашем месте я бы начал сотрудничать со следствием прямо сейчас.

Некоторое время я сидел молча, придумывая, как лучше повести разговор. Начать рассказывать всю правду? Молчать, пока не придет адвокат? В какой-то момент мне показалось, что это не имеет никакого значения. Что у них уже все решено, либретто написано, дирижерская палочка летает сама по себе и мне остается только представлять себе музыку, вернее особую пустоту оркестровой ямы, где вразнобой звучат какие-то сигналы, то еле слышное бормотание, то жестяные стуки, то виолончельный плеск.

— Ну-с-с? — Пруэнса барабанил пальцами по своему гаджету, записывающему наше молчание. Точно такой же, только черный, я нашел в теткинском тайнике, когда разобрал ее бумаги. Когда я включил его, то на несколько минут перестал дышать, как будто оказался глубоко под водой с открытыми глазами.

Со дня Зоиной смерти прошло два года, но в ее доме полно тайников, он состоит из них, как вселенная из фрактальных уровней, так что я наткнулся на диктофон только весной две тысячи шестого. Обнаружив диктофон в коробке из-под бисквитов, я лег на пыльные простыни, которые ничем не пахли, кроме всякой аптекарской дряни, и стал

слушать Зоин голос, такой слабый, старательный, не тот, что был раньше, когда я мог ее видеть.

Странно звучит, я знаю, но тут вот в чем дело. Когда я мог ее видеть, то всегда немного стыдился наших голосов. Наши голоса были словно два пищика в животах у площадных кукол. Мы были одно, а наши речи — другое. За все время, что я провел с ней рядом, неважно где — в постели, за столиком в кафе, на автобусном вокзале, — я ни слова не сказал своим голосом, я то смущался, то наглед, то боялся, то пыжился, то высмеивал, то защищался, я все время был занят, понимаешь? И она тоже.

Черный диктофон, вот чего мне не хватает в этой тюрьме. Я так растерялся, когда за мной пришли на руа Ремедиош, что не взял ни одной нужной вещи, так и ушел в пальто и ботинках на босу ногу. Сидя на своей кухне напротив инспектора, я ждал, когда один из полицейских поднимется на второй этаж и крикнет оттуда: “Пришлите дактилоскописта! Я нашел пятна на стенах от мыльной воды и уксуса”. Но никто не крикнул, меня довольно быстро вывели из дома и отправили в участок, входную дверь опечатали, ключ от нее лежал у меня в кармане, так что, подумав хорошенько, я понял, что *locus delicti* никого не интересует. Я понятия не имел, куда делась Додо, где скрывается вся остальная шайка и что надо говорить, чтобы мне здесь поверили.

Стратагема: обмануть императора, чтобы переплыть море. Если поверят, я сяду в тюрьму за соучастие и сокрытие улик, если не поверят — сяду за убийство. Для каждой свиньи наступает день ее святого Мартина, как сказал один испанец, побывавший в плену. Мать испанца, добрая донья Леонор, выкупила его за две тысячи дукатов. На мою мать надеяться точно не стоит.

Как бы там ни было, я решил писать обо всем, что приходит в голову, в том числе и о тебе, Ханна, хотя тебя

я помню довольно смутно. Вот что я помню: длинные ноги с красноватыми коленями, протяжная речь, бублик из тонких косичек на затылке (португальцы такой бублик называют *bolo rei* и кладут в него цукаты) и пацанская привычка стучать собеседника по плечу.

Я помню, что целовал тебя в пустом коридоре общежития, потому что твоя соседка-деревенщина вечерами никуда не выходила. Может, это и к лучшему, думал я, укладываясь спать в нашей с китаистом комнате, заставленной сосновыми полками. У нас даже между кроватями стояли полки в половину моего роста, так что мы спали в овечьем загоне, сделанном из голубых томов “Путешествия на Запад” и зеленых кирпичей Плутарха. Не слишком-то много я помню, верно? Ну и ладно. Тому, кто пишет, необязательно помнить, как все на самом деле было, ведь он владеет мастихином, которым можно не только смешивать охру с белилами, но и палитру поскрести, почистить лишнее. А если заточить как следует, то и убить, пожалуй, можно.

• • •

Было время, когда моим лучшим другом был Лютас, сын жестянщика, живший в доме напротив, но не в здании с маскаронами в виде львиных голов, а в глубине двора, в деревянной пристройке. В девяносто первом он провожал меня в Лиссабон: мы сидели в нашем подъезде на подоконнике и пили горькую настойку, двадцатиградусную. В тот день он принес мне свою кожанку, шоферскую, с карманами на молниях, чтобы я не позорился за границей, а в придачу — горсть эстонских денег, которые он выменял в школе на марки. Эстонцы только что отчеканили белые однокроновые монетки, чудесно совпадающие по размеру с немецкой мелочью. Во Франкфурте у нас с мамой была пересад-

ка на рейс португальских авиалиний, так что я потихоньку обобрал все автоматы в зале ожидания, набив карманы пачками “Мальборо” и пакетами соленого миндаля.

Я никогда не задумывался о мужской красоте, пока не увидел Лютаса, я вообще думал, что красота — это то, что бывает у взрослых женщин и у старинных вещей. Весь остальной мир я делил на то, что выглядит мерзко, и то, что можно потерпеть. Когда я увидел Лютаса в первый раз, то подумал, что это девчонка, которую подстригли под мальчика: слишком уж ловко сидели на нем джинсы, слишком чистой была кожа. И весь он был какой-то подозрительно чистый для третьеклассника. В тот же вечер мы подрались, и он оказался крепче и свирепее меня, несмотря на свою тонкую кость. Помирившись, мы совершили справедливый обмен: я дал ему рамку с четырьмя сохлыми бражниками, а он мне — гнездо славки, выложенное конским волосом.

Мы звали друг друга *бичулис*, с литовского это переводится как “приятель”, но не только: так называют друга пасечники, владеющие общими пчелами. *Бите* означает “пчела”, у моего двоюродного деда на хуторе их было видимо-невидимо, восемь ульев или двенадцать. Когда дед умер, его дряхлый белоголовый бичулис с соседнего хутора сразу пришел за ульями, постучал по ним палкой и сообщил, что забирает их на свою пасеку, мол, так по традиции положено.

Когда в августе девяносто третьего я вернулся из Тарту домой и сказал, что с горя поступил на исторический, Лютас даже не удивился, похоже, он не видел большой разницы между востоковедом и медиевистом. Они с Габией, его подружкой, целыми днями пропадали на городском пляже, где был ларек с чешским пивом: пиво остужали, опуская бутылки в авоське в речную воду. Иногда Лютас звал меня с собой, и я не отказывался, хотя валяться на одеяле рядом



с Габией, затянутой в тесный купальник, было выше моих тогдашних сил. У меня мутилось в глазах каждый раз, когда она открывала рот, чтобы зевнуть или сунуть за щеку леденец. Теперь-то я знаю, что греческое *χᾶος* имеет общий корень с глаголом “разевать” — неважно что, девичий рот или пасть звериную. Самое смешное, что я не хотел спать с Габией. Ни тогда, ни потом, когда уже спал с ней. Я хотел владеть Габией, как ей владел Лютас, вот и все. Горе душило меня, прочел я у Байрона несколько лет спустя, хотя страсть еще не терзала.

В пятом классе мой друг затеял угнать антикварный соседский “виллис”, давно дразнивший нас сиденьями из потертой рыжей кожи, похожими на чемоданы из шпионского фильма. Лютас забрался внутрь и завел мотор, а я стоял на стреме и трясся, утешая себя тем, что это от ночного холода. Мы катались на трофейной машине до утра, доехали до Тракайского озера, где мотор всхлипнул в последний раз и заглох, пришлось возвращаться в город ранним автобусом, полным старушек с корзинками; в корзинках виднелась свекольная ботва и молодые шершавые огурцы.

В полдень хмурый сосед позвонил в нашу дверь, поговорил с матерью, и она закрыла меня до вечера в соседском чулане, где с потолка спускалась грязная лампочка на сорок ватт, а сидеть можно было только на венском стуле без спинки. Обыскав все как следует, я нашел на антресолях пачку бухгалтерских книг в проеденных мышами переплетках. К одному из гроссбухов был привязан химический карандаш на веревочке, совсем целый.

Я сел на стул, прислонился к сырой стене, вырвал из тетради исписанный синими цифрами листок и начал сочинять рассказ о двух мальчишках, угнавших генеральскую машину, добравшихся на ней до Варшавы и гуляющих там с паненками по кофейням. Часам к восьми вечера я извел

карандаш и принялся искать что-нибудь съестное, воды-то у меня было вдоволь, из каменной стены торчал покрытый ржавчиной кран с вентиляем. Потянув коробку с консервами с верхней полки, я обрушил на себя целую залежь холщовых мешков, поднял тучу пыли и закашлялся.

— Это кто там шебуршит? — строго спросили за дверью. — Уж не вор ли забрался?

Я узнал голос доктора Гокаса, любовника матери, обрадовался и подал голос, надеясь, что он сходит за ключом. Но не успел я закончить фразу, как раздался глухой звук, как будто ударили ногой по плохо надутому мячу, дверь открылась и Гокас возник на пороге, белея в сумерках своим безупречным халатом.

— Ты что здесь делаешь? В индейцев играешь?

— Меня мать закрыла. — Я сунул листки за пазуху и быстро протиснулся мимо него.

— Закрыла? Дверь-то не заперта. Я бы давно уже удрал, будь я на твоём месте.

Ну нет, думал я, сбегаю по лестнице, только не на моём месте. С доктором я бы не стал меняться местами, от него пахло разведенным спиртом и дегтем, а недавно он купил себе “трабант” и теперь проводил воскресенья, разглядывая его усталые внутренности. К тому же, будь я доктором, мне пришлось бы, чего доброго, полюбить мою мать.

• • •

Вещи обманывают нас, ибо они более реальны, чем кажутся, писал Честертон. Это точно. Настоящие вещи живут в скрытой возможности, а не в свершении, вроде пачки бенгальских огней или пакетика семян. Отбери у меня возможность погружать пальцы в клавиши и водить глазами по буквам, и я зачехну, погружусь в кипятик действитель-

ности, как те крабы, что водятся в мутной воде у портового причала возле кафе “Алмада”. Раньше их ловили прямо с веранды кафе, отрывали клешни и бросали обратно в воду. А клешни варили в чане с кипятком.

Стоит мне завидеть свою сноровистую кириллицу, черных бегущих жуков на светящемся белом поле, как у меня отрастают клешни и я оживаю, соскальзываю в воду и боком, боком ухожу на свое придуманное дно. Существует только я и кириллица, латинские буквы недостаточно поворотливы, они цепляются за язык, будто гусиное перо за пергамент, русский же лежит у моей груди, в особенной впадине диафрагмы, к ней мужчины прижимают чужое дитя, пока мать отошла в парадное подтянуть чулок: прижимают крепко, держат неловко, но с пониманием.

В тюрьме я понял это на четвертый день, потому что на четвертый день меня вызвали к Пруэнсе во второй раз и я готов был поцеловать ему ботинок за то, чтобы мне вернули компьютер, хотя бы на пару дней.

— Вы признаете свою вину, — произнес он, и я увидел эту фразу в воздухе между нами, будто всплеск серпантина. Вопросительного знака я не увидел, следовательно было скучно: либо у него не было ко мне вопросов, либо он знал все ответы наперед. Что до меня, то я так долго ждал вызова в этот кабинет, что готов был говорить о чем угодно: о Реконкисте, о ценах на бензин, о певице Амалии Родригеш. После первого вопроса Пруэнса замолчал, налил себе чаю и принялся заполнять какие-то пробелы в моем досье. Минут через десять в кабинет вошел человек в синей форме, сел боком на стол следователя и принялся качать ногой. Потом пришли еще двое охранников, и я подумал, что народу в кабинете многовато для простого допроса.

— Вы поедете на опознание, Кайрис. У вас крепкий желудок? — Пруэнса отхлебнул чаю и улыбнулся.

Для следователя он был слишком выразителен: яркие желудевые глаза, выпуклые губы, бритое актерское лицо.

— Я уже видел ее труп. Я видел, как ее убили, на компьютерной записи, но не смог разглядеть того, кто стрелял. Я также видел, как тело прятали в мешок для мусора. Не надейтесь, что в морге я признаюсь в том, чего не делал.

— У вас скверный португальский для человека, который живет здесь почти восемь лет. Вы имели в виду *его* труп? — Пруэнса был угрожающе благодушен, и я насторожился.

— Думаю, убитый сам толком не знал, кто он такой. Скорее всего, это был парень. Я видел настоящий *cajalho*, не приклеенный.

— Да он под дурачка косит, — сказал тот, второй. — То у него мужика пристрелили, то бабу!

На нем была свежая рубашка, я почувал запах стирального порошка, когда он толкнул меня на пол вместе со стулом. Я ударился головой о край стола, из носа пошла кровь, стул придавил мне правую руку, я хотел его скинуть, но тот, кто меня толкнул, поставил ногу на перекладину, не давая мне подняться. На какое-то время я перестал слышать, но потом слух вернулся — болезненным щелчком, похожим на тот, что бывает после слишком быстрой самолетной посадки.

— Значит, вы видели убитого раздетым? — услышал я голос следователя. — Ваше признание мы занесем в протокол. Мы знаем, что вы знакомы с жертвой, но не предполагали, что вас связывали отношения такого рода. Ведь связывали?

Я осторожно протянул другую руку к внутреннему карману пальто. Похоже, что очки уцелели, хорошо. Эту оправу я купил еще во времена благоденствия, когда работал в Байру-Алту: золото и сталь, немецкое качество. Вот за что я люблю португальцев — здесь даже бьют не слишком стараясь.